ВЛАДИМИР ВЛАСОВ

ЭХО

Вторые сутки по брезенту палатки шелестел дождь. Вторые сутки я клял себя за то, что уговорил Завадского — соседа по квартире—поехать на рыбалку. Вслух этой темы я старался не касаться. Но, убирая после обеда нехитрую газетную скатерть, прочитал прогноз погоды, обещавший затяжные дожди, и терпение мое лопнуло.

— Старый ротозей и склеротик,— обругал я себя, показывая газету Завадскому.— Я же читал этот прогноз, в этой самой газете за день до выезда. Полное расстройство памяти...

Завадский улыбнулся:

— Зачем же сразу страсти-мордасти? Ну, забыли и забыли, бывает.

— Нет, Алексей Захарович,— упорствовал я,— это уже настоящее старческое — забываю текущие события и дела, а прошлое помню.

— Причиной забывчивости может быть и не склероз,— задумчиво сказал Завадский.— Человеческая память — инструмент тонкий. Взять такой случай. В сорок втором, во время атаки под деревней Иванько, заставил немец нашу роту лечь в сотне метров от дзота. Лежим мы, оставшиеся в живых, на пахоте, жмемся к земле и голову поднять из борозды боимся, потому что на малейшее движение немец реагирует мгновенно. У тех, кто поначалу переползал в поисках глубокой борозды, попорол он пулями вещевые мешки. Меткий, негодяй, и бережливый — зря не выстрелит. Но лучше бы он стрелял без остановки, потому что во время стрельбы немцы подойти к нам не могут. А вот в перерывах каждую секунду жду, что подбегут и возьмут нас голыми руками — мы и головы поднять не успеем.

Не оформилась еще у меня полностью эта мысль и не принял я никакого решения, как слышу голос старшины:

— Ребята, у кого сидор целый, шевелитесь. Под огнем сейчас безопасней.

Поняли, зашевелились. И сразу застучал пулемет. Слышно, как щелкают пули, проклевывая вещевые мешки, как матерятся мои товарищи. А пулеметчик осатанел — пулемет у него прямо захлебывается. Вдруг смолк. Старшина спрашивает:

— Неужто эта падла расстреляла все наши сидора?

Кто-то отвечает:

— Никак нет, товарищ старшина, у Чижикова сидор целый.

Старшина командует:

— Чижиков, шевелись!

— Не могу, товарищ старшина.

— Ранен?

— Пока нет.

— Шевелись, Чижиков!

— Нельзя, товарищ старшина, товар в мешке.

— Ты что, на ярмарке?

Старшина еще не кончил многоэтажное ругательство, а пулемет зашелся в длинной очереди.

«Зашевелился Чижиков»,— подумал я.

В этот момент возле дзота грохнуло, и пулемет замолчал... Потом был рукопашный бой. Так вот, я ничего из этого боя не помню. Разговор под пулями помню слово в слово, а тут... хоть убей. Шел вместе со всеми, а ничего не помню, будто спал. Очнулся в деревне. Сижу на крылечке, винтовка между ног, ствол у меня на бедре. Я держусь за ствол обеими руками, смотрю на приклад. А приклад в крови. Значит, действовал я винтовкой, как дубиной, а в памяти ничего не осталось... Пусто... И на душе мерзко. А ведь я актер театра кукол. Память у меня цепкая, профессиональная, о склерозе тогда слышал только краем уха... а случилось же так...

Завадский беспомощно развел руками, словно оправдываясь. Шелестел дождь. Пахло мокрым снегом и прелью. Перед входом в палатку чернели угли погасшего костра. Чуть дальше тихая речка бесшумно несла свои воды среди низких берегов. Над водой сиротливо торчали тонкие длинные удилища. Кончался второй день вынужденного безделья.

— Алексей Захарович,— обратился я к Завадскому,— помните ли вы, чем кончилось дело с вещевым мешком того солдата?

Завадский улыбнулся краешком губ, ответил голосом, полным какой-то особой теплоты:

— Еще бы! Наш старшина на отдыхе учинил Чижикову форменный допрос. И старик (всех старше сорока мы считали стариками) покаялся, что в своем солдатском сидоре таскал две недели кожу, срезанную с трофейного седла. Старшина преисполнился начальственной строгости и заговорил таким тоном, словно перед ним стоял отпе-

тый преступник, подлежащий сдаче в трибунал. Чижиков — человек молчаливый и даже угрюмый — растерянно моргал глазами, а солдаты, чуя очередной розыгрыш, уже окружали их кольцом. Я хотел вмешаться и прекратить эту комедию, но меня опередил Чижиков:

— Сапожный товар был отменный, товарищ старшина, а энтот фашистский нехристь из него лапшу сделал.

— Как же ты, Чижиков, мог в такую страшную минуту жалеть этот проклятый товар, когда на тебя и твоих товарищей в упор глядела смерть?

Чижиков кашлянул смущенно и, обращаясь ко всем, сказал тихо:

— Не товар я жалел в эту страшную минуту, братцы, а дочку Катюшку.

Спеша и волнуясь, он вытащил из кармана помятый бумажный треугольник и подал старшине со словами:

— Вот... пишут... пошла Катюшка... пошла, значит, своими ножонками... а обувка... Ну, я... я ить умею...

Старшина крякнул, вернул письмо, незаметно подобрался и вдруг скомандовал:

— Разойдись!!

Через полчаса он вручил Чижикову новехонький вещевой мешок, сверточек мягкой кожи и буркнул:

— Не оплошай! Проверю!

Завадский был настоящий артист кукольного театра: рассказывая, он говорил голосами своих героев, и их легко можно было представить. Мы давно жили в одном доме, встречались и говорили, как это бывает, обо всем понемногу, но такой интересный разговор состоялся впервые.

— Что-то разболтался я сегодня,— вздохнул Алексей Захарович.— Вам не надоело? Я ведь редко с кем откровенничаю, а с вами мне сегодня легко говорить, хотя вы мне не сват, не брат и даже не дальний родственник.

— Наверное, обстановка...

— Да, да,— оживленно прервал меня Завадский.— Вы очень удачно заметили, Владимир Фомич. Именно обстановка! После двадцати лет городской жизни, теплых постелей и прочего комфорта — сырая палатка, сено, дождь... Декорации, так сказать, налицо. Не хватает только махорочного дыма. А раз есть сцена, должно разыграться действо. Вот я и подменяю его своими воспоминаниями... Память! Да, сложнейшая загадка природы. Я много читал и размышлял над тем, как и почему действует или не действует память, и не нахожу ответа... Думается мне, что связано это с сильнейшими потрясениями, но как-то выборочно. У людей, прошедших войну, это особенно наглядно, хотя никак не объясняется общепринятое положение, будто забывается все плохое и злое, а помнится хорошее. Расскажу вам еще одну историю. В том же сорок втором попал я в плен. Помню все, а во сне и сейчас, бывает, кричу от ужаса и просыпаюсь в холодном поту. Но отдельные люди, которым я обязан жизнью, почему-то забылись или помнятся смутно.

Однажды вечером в бывшем военном городке, превращенном фашистами в лагерь военнопленных, навалился на меня жесточайший озноб. Что это за болезнь, я не знаю и по сей день. Но тогда я уже мысленно попрощался с жизнью. Стою на поверке и так мерзну, что зуб на зуб не попадает, хотя время еще теплое. Кое-как добрался до казармы и упал в углу на холодный цементный пол. Сразу же напали на меня блохи. А их там было столько, что трудно представить. Когда мыли пол, то белые стены чернели на два метра вверх от этих паразитов. Но в этот раз я их не чувствовал. Проклятый озноб треплет мое тело, голова горит, словно в огне, и сильно давит сердце. Слышу монотонное гудение массы человеческих голосов, будто огромный рой пчел гудит где-то рядом, а ни одного слова ясно не слышу. Вижу массу лиц, а ни одного отдельно рассмотреть не могу. Все они качаются и плывут куда-то мимо

меня. Потом это движение замедлилось, возле меня наплывом появилась забинтованная голова, и хриплый голос позвал:

— Пашка, вали сюда. Расстилай шинель, клади этого бедолагу в середку.

Они расстелили шинель, положили меня между собой, накрылись двумя шинелями. Забинтованный хрипит:

— Дыши, браток, дыши пуще. Счас мы согреем тебя. Пашка, дыши что есть духу.

Спустя самое малое время тело мое покрылось потом, озноб утих, отошла боль от сердца. Забинтованный почувствовал, что я вспотел, и прохрипел:

— Будешь жить, командир.

— Откуда вам известно, что я командир?

— Нам все известно. Какой же я солдат, если командира отличить не сумею? Мне петлиц не надо. Я на твои руки глянул и сразу понял, кто ты есть.

Утром нас подняли палками, и мы навсегда потеряли друг друга в суматохе лагерного дня. Я знаю, что видел его утром, видел близко, а память сохранила только грязный бинт через лоб и хриплый голос. Я до сих пор поворачиваюсь на хриплый голос в толпе, в трамвае, в электричке.

Завадский потер, словно согревая, пальцы, зябко передернул плечами. Тонкие в кисти руки его были очень подвижны. Особенно подвижны и чутки были пальцы. Эти пальцы, длинные и сильные, все время двигались, когда он говорил. Двигались они и сейчас: мягким, точным движением извлекли из коробки дорогую папиросу, размяли табак, зажгли спичку. Заметив, что я внимательно разглядываю его руки, Завадский сказал:

— Основа куклы — живая рука актера. Вы заметили, конечно, что я все время пытаюсь изобразить руками то, о чем рассказываю. Это профессиональное. За свои руки хлебнул я горя в плену. И в этом случае в памяти моей — необъяснимый провал.

Нас гнали пешком полдня без остановки. Истощенные люди шли медленно. Охранники торопили, подгоняли, ругали и били отстававших. Особенно свирепствовал длинноногий рыжеватый охранник. Говорили, что он не немец, что он выслуживается перед немцами. Позади колонны частенько потрескивали короткие автоматные очереди — добивали обессилевших. После выстрелов все невольно ускоряли шаг и какое-то время колонна шла почти без шума, а потом все повторялось. В полдень остановились. Охранники начали обедать, а мы первый раз за день напились прямо из речки и присели на берегу. Соседи вытряхнули из карманов и кисетов все, что там оставалось, и с трудом наскребли табачных крошек на одну цигарку. Мой вклад был огромный — десятка два махоринок. И сворачивать цигарку доверили мне. Как на грех, ни у кого не нашлось газетки. Табачное крошево, ссыпанное на замызганную пилотку, бережно держал двумя руками здоровенный горбоносый парень. Он сказал: «Возле воды на траве валяется пропуск в немецкий рай. Бумага, конечно, вонючая, но в этом раю другую хрен найдешь». Принесли пропуск в плен. Вручили мне — крути цигарку. И тут будто черт меня под локоть толкнул: начал я читать этот пропуск вслух. Читал, имитируя произношение Гитлера, и каждую фразу сопровождал популярным жестом — кукишем.

Завадский на мгновение смолк и вдруг выпалил трескучей скороговоркой, безбожно коверкая слова:

— Руссише зольдатен, вам гарантируется жизнь! Ви получайте клеб, бутер, медицинскую помощь, свободу...

При первых звуках этой речи пальцы правой руки Завадского сложились в кукиш, напоминающий человеческую голову в профиль. Эта голова ни секунды не находилась в покое. Звучание голоса и совпадение речи артиста с жестом были полными, понятными любому. Даже сидя в тес-

ной палатке рядом с Завадским, я поддался влиянию древнего искусства — казалось, что говорит голова-кукиш. Я громко засмеялся.

— Вот так же смеялись мои товарищи,— сказал Алексей Захарович.— И я был счастлив, что хоть на миг развеселил их. Громче всех смеялся парень, державший пилотку с табаком. Я еще не кончил читать листовку-пропуск, как почувствовал что-то неладное. Зрители мои хохотали по-прежнему, по-прежнему искрились смехом глаза горбоносого парня, но смотрел он не на кукиш, а куда-то дальше, за мою спину. Я опустил руку и оглянулся, но поздно — слепящий удар кованого приклада в лицо выбил сознание. И вот в это короткое мгновение в память навсегда вошла рысья морда охранника с рыжеватыми, тщательно подбритыми бачками, с хищным прищуром больших серых глаз и вертикально стоящим зрачком. Помню, что успел подумать: «Финн!» В себя пришел на ходу. Колонна, поднимая тучу пыли, двигалась быстро. Меня тащили под руки. Во рту хрустели зубы, а гимнастерка на груди коробилась от засохшей крови. Дважды сменились товарищи, ведущие меня, пока я начал шевелить ногами. Но и потом меня поддерживали, чтобы не упал. Постепенно выплюнул я свои зубы и попросил бросить меня, не мучиться. Меня обматерили, велели молчать. Но вскоре поняли, что не хватит сил тащить меня до вечера. Стали меняться чаще. И я убедился, что мне не дойти, что скоро упаду и потащу с собой кого-нибудь на тот свет. Поймав момент, когда меня отпустили, я ткнулся всем телом в пыль и перевернулся на бок. Вот как устроен человек: знаю, что скоро умру, а ложусь на бок, чтобы меньше меня топтали. Но никто меня не задел. Идущие сзади шарахались в стороны, лезли под удары охранников, но на меня не наступали. Мелькали, топали перед глазами ноги. Ноги в сапогах, в ботинках, босиком. Кто-то прошлепал в калошах, привязанных проволокой, а кто-то в сандалиях и в жен-

ских чулках поверх галифе. Помню эти ноги и буду помнить до гроба. Но вот последние наши обошли меня, и топот стал стихать. Улеглась пыль, и послышался новый, отдаленный, сдвоенный звук: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь... Все слышнее, все громче. «Подковка на сапоге отстала — она и звякает,— догадался я и удивился своему спокойствию,— ведь это же идет моя смерть!» И такими громкими показались мне эти шаги, будто бьют они меня прямо по голове: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь! Ударили в последний раз, и наступила великая тишина. Вижу возле себя русские яловые сапоги и думаю: «С наших содрал, скотина». Чуть выше сапог — тупой ствол автомата. Еще выше лицо, пилотка, надетая с косинкой. Смотрю на это лицо. Кажется, очень долго смотрю, и чувствую, что страха нет. Вижу, как дрогнул ствол автомата, и я глаз не закрываю. Ствол дернулся, и короткая очередь хлестнула по дороге рядом со мной. Вздыбилась фонтанчиками пыль, и опять тишина. Лежу и глаз оторвать не могу от лица этого немца, и сердце уже бьется так, будто выскочить хочет. И страшно мне, как никогда раньше, и жить так хочется, будто я и не готовился несколько минут назад к смерти. Снова дернулся автомат, фонтанчики пыли выросли чуть дальше. Яловые сапоги простучали рядом с головой: туп-дзинь, туп-дзинь, туп-дзинь... туп, туп, туп... Повернул я голову, а рядом заросли тальника, а за ними речушка.

Завадский бросил в рот папиросу, зажег спичку. Пальцы его нервно вздрагивали, и огонек погас. Он прикурил с третьей попытки, сказал уже спокойно:

— Мерзавца финна за один миг запомнил навек, звяканье подковки тоже, а спасителя, хоть и долго видел, не помню. Необъяснимый провал...

Он помолчал, затянувшись, и, медленно выпуская дым, сказал:

— Память, как эхо: иногда отзовется ясно, иногда нет.